

Сов. Россия, 1980, № 24.

Сегодня мы печатаем в сокращении статью Марины Цветаевой «Поэты с историей и поэты без истории», которая публикуется в двухтомнике избранных произведений поэтессы в издательстве «Художественная литература».

Судьбы поэтические

Марина ЦВЕТАЕВА

ВСЕ ПОЭТЫ ДЕЛЯТСЯ на поэтов с развитием и поэтов без озвизтия. На поэтов с историей и поэтов без истории.

Первых графически можно представить в виде стрелы, пущенной в бесконечность, вторых — в виде круга. Над первыми (стрела) — поступательный закон самооткрывания. Они открывают себя через все явления, которые встречаются на пути, в каждом новом шаге и каждой новой встрече.

Мое — чужое, насущное — лишнее, случайное — вечное. Все для них пробный камень. Пробный камень их силы, растущей с каждым новым препятствием. Их самооткрывание есть самопознание через мир, самопознание души через видимый мир. Их путь есть путь опыта. Когда они идут, мы физически ощущаем движение воздуха, ими рас-секаемого. От них ветер идет.

Они не оборачиваются на своем пути. Их опыт накапливается как бы сам собой и складывается где-то сзади, подобно багажу за спиной, который никогда не давит на плечи. На ношу ведь не оборачиваешься. Пешеход не ведает о своем вешевом мешке до той минуты, пока он ему не понадобится: до привала...

Поэты с историей (так же, как и люди с историей, как и сама история) даже и не отрекаются от себя, они просто не оборачиваются на себя, им некогда, — только вперед! Такой закон движения и проникновения...

Поэты с историей прежде всего — поэты темы. Мы всегда знаем, о чем они пишут, а если и не знаем, то после завершения их пути всегда узнаем, куда они шли (наличие цели). Они редко бывают чистыми лириками. Они слишком велики по объему и размаху, им тесно в своем «я»...

Поэты с историей прежде всего поэты воли. Говорю не о воле, которая осуществлялась бы сама по себе: никто не усомнится в том, что такая физическая громада, как «Фауст» или просто поэма в тысячу строк, не может возникнуть сама по себе. Сами собою могут возникнуть восемь, шестнадцать, редко двадцать строк — лирический прилив чаще всего приносит к нашим ногам осколки — хотя бы и самые драгоценные. Говорю о воле выбора, о воле — выборе. Решить не только стать другим, но — именно таким. Решить расстаться с самим собой. Решить, подобно герою сказки: направо, налево или прямо (и, подобно герою той же сказки, — никогда назад!). Пушкин, проснувшись однажды утром, решает: «Сегодня пишу Моцарта!». Этот Моцарт — отказ от множества дру-

гих видений и дел, непреложность выбора, — жертва. Упогребив современный словарь, скажу: поэт с историей отбрасывает все, что не на его генеральной линии — его личности, его дара, его истории. Выбирает его непогребимый инстинкт главного. Зато после завершения пушкинского пути у нас остается ощущение, что Пушкин не мог не создать того, что создал, и написать то, что он не написал. И никто из нас не жалеет, что он отказался в пользу Гоголя от замысла «Мертвых душ», которые находились на Гоголевской генеральной линии. (Поэт с историей обладает еще и ясным взглядом на других — Пушкин прежде всего).

Ясная черта таких поэтов — стремление к цели. Поэт без истории не может иметь стремления к цели. Он и сам не знает, что принесет ему лирический прилив.

Чистая лирика не имеет замысла. Нельзя заставить себя увидеть такой и именно такой сон, ощутить такое и именно такое чувство. Чистая лирика есть чистое состояние переживания — перестрадания, а в промежутках («пока не требует поэта к священной жертве Аполлона») — при отливах вдохновения — состояние безграничной бедности. Море ушло, все унесло и до своего часа не вернет. Ужасающее и постоянное висение в воздухе на честном слове вероломного вдохновения. А если однажды оно отпустит?

ЧИСТАЯ ЛИРИКА есть лишь запись наших снов и ощущений, плюс мольба, чтоб эти сны и ощущения не иссякли... Если от лирика требовать еще... Но чего еще можно от него требовать?!

Лирику не за что ухватиться: у него нет ни касты темы, ни обязательных часов работы за столом; нет материала, из коего он черпает, коим занят и даже поглощен в часы отлива; он целиком висит на волоске доверия.

Не ждите жертвы: чистый лирик ничем не жертвует: он рад, когда хоть что-то пришло. Не ждите от него и морального выбора, что бы ни пришло, «зло» или «добро», — он так счастлив, что вообще пришло, что вам (оошеству, морали, богу) — ничего не уступит.

Лирику дана лишь воля исполнения: ровно столько, чтобы разобрать дары прилива.

Чистая лирика — всего лишь запись наших снов и ощущений. Чем лирик больше, тем чище запись.

...Насколько невыразительны и незарезанные рассказанные нам чужие сны, настолько неотразимы сны лирические, которые волнуют нас больше наших собственных!

**Уж за горой дремучею
Погас вечерний луч.
Едва струей гремячею
Сверкает жаркий ключ.**

Эти строки молодого Лермонтова сильнее всех моих детских снов, и не только детских, и не только моих.

О поэтах без истории можно сказать, что их душа и личность сложились еще в утробе матери. Им не нужно ничего узнавать, усваивать, постигать — они уже все знают отродясь. Они ни о чем не спрашивают — они только являют. Очевидность (опыт) для них — ничто.

Круг их знаний порой очень узок. Они не выходят из него. Круг их знаний порой очень велик. Они никогда его не сужают, дабы угодить опыту. Они пришли в мир не узнавать, а сказать то, что уже знают, все, что знают (если это много), единственное, что знают (если оно одно).

Они пришли в мир, чтобы дать знать о себе. Чистые лирики, только лирики не допускают в свой мир ничего чужеродного; инстинкт чужого у них такой же, как у поэтов с историей, — инстинкт генеральной линии. В этом смысле у них есть выбор, вернее, отбор, а еще бессознательный. В этом они, как и во многом, а быть может, и во всем — дети. Мир для них! Не так! — Нет, так. Сам знаю! Я лучше знаю! — Что он знает? То, что иначе не может. Они абсолютные антиподы: есть и мир (говорю о мире человеческом, обществе, семье, морали, господствующей церкви, науке, здравом смысле, любом виде власти, — человеческом устройстве вообще, включая и пресловутый «прогресс»). Их стихи и судьбы — всегда единое целое.

Для поэтов с историей нет чужеродных тем, они сознательные участники мира. Их «я» равно миру. От человеческого до вселенского.

В этом — отличие гения от лирического гения. Ибо существуют и чисто лирические гении. Но о них никогда не говорят: гении. Замкнутость, обреченность такого гения на самого себя определяется словом лирик. Так же, как безграпичность и даже безличность гения сопряжена с отсутствием или просто невозможностью определения вообще. (Всякое определение давая, точный смысл, ограниченно).

«Я» не может быть гением. Гением можно назвать «я», облечь в такое-то имя такого-то смертного, взять на временную потребу некие земные приметы. Не забудем, что гений у древних совершенно достоверно означал высшее и доброе существо, божество,

стоящее над человеком, а не самого человека. Гете был гением потому, что над ним парил гений. Этот гений увлек его и поддерживал до конца восьмидесяти третьего года — до последней страницы Второго Фауста. Тот же самый гений запечатлелся на его бессмертном лице.

...Поэт с историей никогда не знает, что с ним будет. Это знает его гений, который ведет его и открывает ему ровно столько, сколько необходимо для его свободного движения: направление, ближайшую цель, постоянно скрывая главную за поворотом. Чистый лирик всегда знает, что с ним ничего не будет, что у него ничего не будет, кроме себя самого: собственного лирического, трагического переживания.

Возьмем Пушкина, начавшего с лицейских стихов, и Лермонтова, начавшего с «Паруса», Пушкина в его первых стихах мы совершенно не угадаем, только гений Державина смог в живом лице, в живом голосе и в живом жесте юноши увидеть будущего гения. А в «Парусе» шестнадцатилетнего Лермонтова — уже весь Лермонтов, Лермонтов волнения, обиды, дуэли, смерти. У юного Пушкина не могло быть такого «Паруса» — и вовсе не из-за незрелости таланта — он был так же одарен, как и Лермонтов. Просто Пушкин, как всякий поэт с историей, как и сама история, начал с самого начала и всю свою жизнь провел *in werden* (в становлении), а Лермонтов сразу — был. Пушкину, чтобы открыть себя, потребовалось прожить не одну жизнь, а сто. Лермонтову же, чтобы открыть себя, нужно было только родиться.

КОГДА ПОДХОДИШЬ к явлению, надо знать, чего от него можно ожидать. И ожидать от него — именно его самого, того, что составляет его сущность. Когда подходишь к морю — и к лирику, — то идешь за тем же, а не за новым, за повторением, а не за продолжением. Лирика, как и море, даже когда его открываешь в первый раз, — непременно перечитываешь, в то время как реку, что течет мимо, как и Пушкина, что идет мимо, если ты родился за их берегах, всегда читаешь дальше. Разница между приходящим — уходящим, усыпляющим лирическим морским движением — и продолжимым, однородным, невозвратным — речным. Разность пребывания и прохождения. Реку любишь за то, что она всегда другая, море — за то, что оно всегда то же. Если хочешь новизны — селись у реки.

Лирика, как и море, сама приходит в волнение. Сама успокаивается, сама в себе свершается. Не зря

Гераклит сказал: «Никто еще дважды не ступал в одну и ту же реку», — взявши символом течения не море, которое каждый день видел перед собой и которое знал, а — реку.

Когда идешь к морю и к лирику, идешь не за невозвратностью течения, а за возвратностью волн; не за неповторимостью мгновения и не за переходящим, а именно за повторяемостью морских и лирических непредвиденностей, за неизменностью смен и перемен, за неминуемостью собственного изумления ими.

Обновление! Вот в чем их власть над нами, могущество, на котором держится все богослужение, все колдовство, все чары, все вызывы, все проклятия, все союзы человеческие и нечеловеческие...

Кто может сказать великому и истинному: будь иным!

Будь! — вот наши безмолвные мольбы. Поэту с историей мы говорим: — Смотри дальше! — Поэту без истории: — Нырй глубже. — Первому: — Дальше! — Второму: — Еще!

Исключение — чистый лирик, у которого были, однако, и развитие, и история, и путь — Александр Блок. Но, сказав «развитие», вижу, что взяла не только неверное направление, но и слово, противоречащее сущности и судьбе Блока. Развитие предполагает гармонию. Может ли быть развитие — катастрофическим? И может ли быть гармония там, где налило полный разрыв души? И вот, не играя словами, а строго спрашивая с них и отвечая за них, утверждаю: Блок на протяжении всего своего поэтического пути не развивался, а разрывался.

О Блоке можно сказать, что он от одного себя старался уйти к какому-то другому себе. От одного, который его мучил, к другому, который мучил его еще больше. Характерная особенность Блока в том, что он все надеялся уйти от самого себя. Так смертельно раненный человек в страхе бежит от раны, так больной мечется из страны в страну, потом из комнаты в комнату и, наконец, с одного бока на другой.

Если Блок нам видится как поэт с историей, то эта история — только его, Блока, лирического поэта, история, только лирики — страдания. Если Блок нам видится поэтом, имевшим путь, то этот путь — лишь бегство по кругу от самого себя.

Остановиться, чтобы перевести дух. И войти в дом, чтобы снова встретить там себя самого!

Разница лишь в том, что Блок с рождения побежал, в то время как другие оставались на месте.